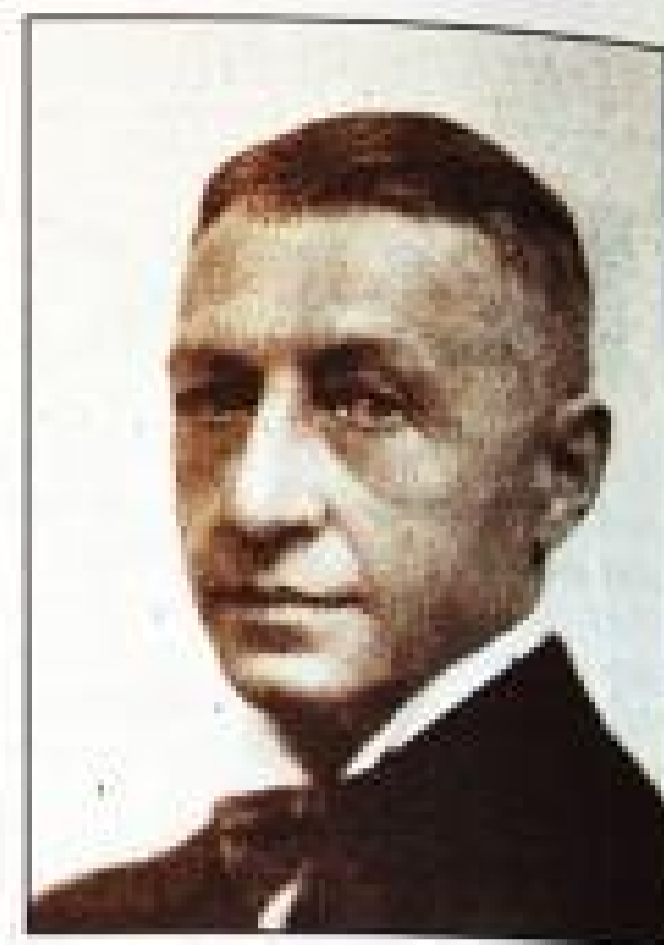


Наваждение первой любви

В бунинских записях 1916 года есть мысль о том, что дневник – одна из самых прекрасных литературных форм. «Думаю, что в недалёком будущем эта форма вытеснит все прочие», – утверждал писатель. И сам изо дня в день работал на предугаданное им будущее, ведь едва ли не каждое его произведение – страница недописанного дневника, начатого в декабре 1885 года пятнадцатилетним подростком.



Одна из самых значимых записей – о первой любви – исходная для понимания всего творчества Бунина, пронизанного духом уточнённого гедонизма. Читатель, обращающий внимание на «молочную и недурную» гувернантку, пленившую юного поэта, упускает из виду главное: захваченность Бунина космическим Эросом предшествовала его реальной встрече с объектом предполагаемой страсти. Через 53 года он пишет рассказ «Муза» (1938) – тоже о первой любви. Целиком выдуманная героиня этого рассказа, как и невдуманная гувернантка Эмилия Васильевна, – не более чем призрачные модификации «общего прекрасного женского образа» – архетипа *Вечной женственности*, культ которой на свой особый лад творил Бунин, предельно золотой век русской литературы в эпоху торжествующего дионисического безобразия и «массового бесстыдства» (Д. Андреев). Так что мелькающие в *темных аллеях* бунинские красавицы – Антонина, Валерия, Натали, Руся, Таня... – это лишь мифопоэтическая «половина», без которой мужское бытие остаётся частичным, ущербным, неполноценным. Обратимся к упомянутой дневниковой записи: «Что меня ждёт? – задавал я себе вопрос. Ещё осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, и сердце ныло так сладко, и даже по временам я плакал, сам не зная от чего; но и сквозь слёзы и грусть, навеянную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное, светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думаю. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня так к ней влечёт? Может, оттого, что про неё много рассказывала сестра...» Перед нами – феноменологически точная фиксация элементарного психического обнаружения *жизненного порыва*, правда, пока ещё слепого и смутного, интенционально неопределённого. «Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь». Такою была первая *Митина любовь* в изображении Бунина. Очевидно, подобно толстовскому Миле Оленину Бунин сознавал в себе присутствие «всесовершенного бога молодости», имя которого известно издревле – Эрот.

От Платона, чьи диалоги перечитывал не раз, Бунин знал, что первоначально эта космическая энергия, родственная поэтическому адолюсценции, выражается в эротическом «устремлении к прекрасным телам», которое на пути восхождения миста к прекрасному самому по себе и обретению андрогинной полноты бытия трансформируется в любовь к прекрасным душам, не совместимую с чувственными экстазами, с «первой мессой пола». Острые, болезненные до безумия переживания тупиковости платоновской дихотомии *душа–тело* были показаны писателем в повести «Митина любовь». Лишь на первый взгляд эта бунинская вещь может показаться благодатным источником для спекуляций психоанализа, не ведущего к открытию каких-либо новых, одухотворяющих нас смыслов. Внимательное прочтение текста позволяет вскрыть бунинскую философию любви, не имеющую ничего общего с «переносом импульса похоти в космический план» (Даниил Андреев), сублимицией полового инстинкта (И.А. Ильин) или проекциями *профанного эроса*. Даже сцена *Митино надеши* с деревенской красавицей Алёшкой (*Афродитой Прометародной*), подменившей на какие-то мгновения лучезарный образ идеализированной им Кати (*Афродиты Уранши*), становится эпизодом космической мистерии любви. Вот почему мы не можем согласиться с Иваном Ильиным, с высокомерием ортодокса утверждавшим, что «искусство Бунина по существу своему доуховно». Между прочим, этот тезис опровергается бунинскими переводами поэмы «Манфред» и мистерии «Канн». Кроме того, отметим, что духовность в том или ином виде всегда присутствовала как человеческому мастерству и умению.

Попробуем определить духовное своеобразие бунинского творчества. «Митина любовь» поможет нам сделать это. Любопытно, что даже такой вдумчивый критик Бунина, каким был Иван Ильин, не обратил внимания на мелькнувшее в повести имя – *Наше*. Между тем оно – ключевое для понимания бунинского антиплатонизма, нашедшего выражение в описании *Митино* «сверхчеловеческого счастья» – под знаком Антареса, ярчайшего красного сверхгиганта в созвездии Скорпиона, символизирующего одного из падших ангелов из свиты Люцифера, проводника тёмных излучений «галактического анти-Космоса» (Д. Андреев). Уточним: бунинскому персонажу открывалась лишь перспектива «сверхчеловеческого счастья», связанного с преодолением мучительного *дуализма любви* – той сущностной двойственности Эроса, о которой писал Платон. Влюблённый, по мысли философа, рано или поздно вынужден сделать выбор между Эротом Афродиты небесной, требующей пода-

вления чувственности, и «Эротом Афродиты пошлой», поощряющей падение человеческой души в стикцию тёмного космического психизма. Тот, кто этого выбора не делает, впадает в эротическое помешательство и гибнет от собственной развращённости, что и произошло с Митей. Автору повести были хорошо известны состояния разорванного, несчастного сознания. Он и сам не раз оказывался на грани психического срыва в безумие, отвергая как нелепое поприще плоти в платонической любви, так и подавляющую и уникальную личность *паломы Клеми*. Такою, по признанию Бунина, была в 1898 году его «выдуманная влюблённость в Лопатину», сестру философа-лейбницянца Льва Лопатина. В период романтической влюблённости в *Катю Лопатину* (Афродиту небесную), с которой Бунин, между прочим, побывал и в Новом Иерусалиме (архитектурном символе божественного счастья), он неожиданно делает предложение 20-летней Анне Цакни (Афродите пошлой), увлечённый ею «язычески, сражённый одним движением её бедра. Старейший несчастный Бунин с новой



Дарья Мережко. Иван Бунин «Митина любовь»

силой пережил *дуализм любви* в сложных отношениях с Верой Муромцевой (Афродитой небесной) и Галиной Кузнецовой (Афродитой пошлой), которую как-то раз преследовал с револьвером в прилажке ревности.

Именно эта проблематика, связанная с «дуализмом любви», и образует смысловое ядро повести «Митина любовь». Ссылка Бунина на историю «падения» его племянника Николая Пушешникова, как и упоминание Владимиром Набоковым о Мите Шаховском (брате Бунина), будто бы ставшим для писателя прототипом героя повести, ничего не дают нам для понимания её философского содержания. Иное дело Нишице с его необычным толкованием феномена человеческой телесности, познающим личность над мучительной дихотомией *душа–тело* и открывающим для неё горизонт «сверхчеловеческого счастья». Суть этого нетрадиционного толкования – в отказе от характерного для платонизма видения тела как обременяющей бессмертную душу аморфной массы (*дрязги*) и соответствующей идеологии *умерщвления плоти*, от многовекового *дредубеждения против телесности*, изображаемой теперь в совершенно новом свете как объективная *воля к жизни*, которая хочет не столько «сохранить», сколько *презреть* самой себя. Воля – как оборотная, имманентная сторона живого тела, его внутренняя «формирующая форма» – и создаёт видимость красоты (*прекрасной индивидуальности*) постольку, поскольку удерживает множество сконцентрированных в человеке сил в некоем равновесии, в гармонии. Вот почему за платоновским «устремлением к прекрасным телам» (как и за фрейдовским *бессознательным сексуальным влечением*) скрывается на деле *вождежающая воля*, стремление одной воли доминировать над другой. В таком случае и любовь – это не столько «жажда целостности», утоляемая в телесном соприкосновении противоположных полов, сколько рискованное, смертельно опасное столкновение волеи, борющихся за «превосходство» друг над другом. При этом каждый из противоборствующих сторон предстаёт для другой в обманчивом и чарующем телесном облике, не являясь чем-то телесным по своей сути и, как правило, сопротивляющейся поработке её определённому, не желающей быть чьей-либо вещью, игрушкой.

Что же представляет собой «Митина любовь» в свете метафизики воли? В начале повести дано описание «последнего счастливого дня Мити»: Катя «в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской до-

верчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним». Вместе с тем Катя, видимо, не желая быть просто ведомой, невольно «выказывала своё превосходство над ним, и он с большою воспринимал это, как признак её какой-то тайной порочной опытности». Иллюзорное сознание того, что он для неё «лучше всех, единственный», даже в этот его «последний счастливый день в Москве» отравлено ненавистью и равнодушием к «артистической богеме», которая отнимала у него Катю, и без того далёкую от того, чтобы предоставить влюблённому в неё Мите абсолютное право на владение, распоряжение и пользование ею. Даже «в тяжёлом дурмане поцелуев» Катя напоминает ему, что она – не только тело. Он то и дело ощущает её сопротивление, *противоволеи*, нежелание соответствовать его иллюзорному представлению о ней («... Может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть»). Утраченного контроля над женским своеволием переживает Митей как начало катастрофы. Его любовь трансформируется во всепоглощающую, сводящую с ума ревность, в непрерывную муку от сознания растущей «внутренней невнимательности Кати к нему», в «острую ненависть» к ней, в «жажду задушить Катю, и прежде всего именно её, а не воображаемого соперника». Так «Митина любовь» превращается в Митину ненависть. Если первую действительно можно истолковать как банальную юношескую реакцию на фантом «прекрасного тела», то вторая уж точно вызвана сбивающей с толку актуальностью бестелесного «вечно-женственного» начала, как бы мы его ни называли – интеллектуальной, душой (*Ашмой*) или натурой.

Вопреки своему первоначальному замыслу Бунин создаёт повесть о Митиной ненависти к девушке, отказавшейся принять навязываемую ей роль «рабы любви», всти *несобственное бытие-при любовнике-собственнике*, вызывающей в последнем «злую враждебность» по отношению к себе. «Ты любишь только моё тело, а не душу!» – горько сказала однажды Катя. Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно неразрешимого. Автор явно встаёт на сторону своего главного персонажа, озабоченного одним вопросом: принадлежит ли ему Катя или «уже не принадлежит»? Вопросание неуместное, так как касается лица, а не *вещи подручной*. Даже в самой постановке вопроса есть что-то оскорбительное для личности, противящейся какому бы то ни было манипулированию. Кажется, что вместе со своим героем Бунин приходит к пониманию неразрешимости антиномий языческого и христианского платонизма, неприменимости дихотомий разорванного, несчастного сознания (*душа–тело, дух–плоть*) к эротическому опыту личности, переживающей свою телесность уже не как бремя, а как выражение собственной свободной воли, будь то аполлоновская воля к обретению прекрасной формы или дионисическая воля к беспорядку и безобразию. Мы видим, что любовь стала для Мити не одним из «проявлений страсти» (как казалось ему самому), а, скорее, выражением слабости и несвободы его воли, очарованной мучительной и «непостижимой прелестью» форм женского тела и не решившейся на прорыв к «сверхчеловеческому счастью», невозможному без отказа от установки на *обладание*. При этом человеческое, *слишком человеческое счастье* с «Афродитой пошлой» оказалось для Мити непримлемым. Платоническая же любовь к Кате превратилась в ненависть, обострённую сознанием *несоответствия* влюблённой архетипическому образу вечно женственной «Афродиты небесной». Ненависть – это феноменальное обнаружение *воли к ничто*, которая в своей образности на другого толкает влюблённого на убийство, в направленности же на самого себя – к самоуничтожению.

Предложенный краткий анализ основной коллизии бунинской повести показал, сколь неправ был русский философ-гегельянец Иван Ильин в своей замечательной работе «О тьме и просветлении», когда утверждал, что «искусству Бунина чужд драматизм волеи столкновения и волевой борьбы», «судья и волеи трагедия». На деле за кажущейся *объективностью* Бунина – *холодного наблюдателя* «инстинктивных состояний, мук, порывов и провалов» *предельно чувственной, земной любви* – скрывается пост-романтик люциферянского типа, переживавший (как и бунинский Манфред) постальгию по *незабвенному времени* своей первой любви и изображавший состояния павшей с высоты «сверхчеловеческого счастья» *возделанной воли*.



Александр Водолагин